# Любовник с грязными ногтями

# Джон Апдайк

Когда женщина вошла в комнату, мужчина встал, вернее так: когда она открыла дверь, он стоял за своим письменным столом. Она вошла, закрыла дверь. Комната была квадратная, обставленная странно, с холодком, что-то среднее между жилым помещением (японские цветные гравюры с их блеклыми красками на стене, толстый ковер какого-то особого оттенка синего, словно концентрирующего в себе тишину, черный прямоугольник дивана без спинки и ножек, с единственной призматической поролоновой подушкой) и рабочим кабинетом, чем эта комната и была в действительности, хотя ни инструментов, ни книг там не наблюдалось. Не так легко было вообразить, кто мог бы находиться в этой комнате на правах законных обитателей, если бы они там уже не находились. И мужчина и женщина были безукоризненно ухожены и одеты. На женщине был серый полотняный костюм и белые туфли, в руках белая сумочка; светлые волосы с серебристым отливом стянуты в узел на затылке. Шляп она не носила. Сегодня не надела и перчаток. На мужчине был летний серый костюм тона чуть более светлого, чем на женщине, хотя, возможно, это только казалось, поскольку он стоял ближе к окну, к свету. В окне квадратной драконовой мордой, притиснутой к стеклу, урчал кондиционер — немного, пожалуй, угрожающе. Жалюзи приглушали свет, который (эта сторона здания была теневой) проникал в такой час уже рассеянными лучами. У мужчины были густые с проседью волосы, вьющиеся, заботливо расчесанные и уложенные не без тщеславного самолюбования: одна прядь небрежно падала на лоб, как у молодого. Женщина прикинула, что он лет на десять ее старше. Самодовольство — не исключено, но другим возможным объяснением небрежно упавшей на лоб пряди могла быть усталость, ведь дело близилось к вечеру: сколько он всего уже выслушал... От инстинктивного желания извиниться, сказать что-то в свое оправдание у нее засвербило в горле, а руки и ноги обмякли, как у оробевшей девицы. Он не садился — ждал, когда сядет она, и даже такая пустячная предупредительность, вызванная ее принадлежностью к слабому полу, сразу открыла окошко в стене обезличенности, которая их разделяла. Она украдкой глянула в это окошко и была поражена своим открытием — он оказался ни красив, ни уродлив. Она не понимала, как к этому относиться. Его лицо, опущенное сейчас книзу, казалось усталым и недовольным. Но вот он поднял голову, и оно не выражало ничего, кроме обезоруживающе невинной выжидательности. Она, как всегда, заметалась в тисках охватившей ее паники. Голые, без перчаток, руки судорожно стиснули сумочку. Урчание кондиционера грозило поглотить ее первые слова. Она почувствовала, что ей не хватает в этой комнате запаха цветов: у нее дома все подоконники были уставлены цветочными горшками.

— На этой неделе я виделась с ним всего только раз, — наконец сказала она и по привычке выдержала вежливую паузу, предоставляя собеседнику время для ответа. Потом спохватилась, что здесь законы вежливости неприменимы, и заставила себя продолжить свой монолог: — В гостях. Мы немного поговорили — я сама завела разговор. Мне показалось таким противоестественным, что мы теперь даже не говорим друг с другом! И когда я подошла к нему, он, по-моему, очень обрадовался и охотно поболтал со мной — машины, дети, всякое такое. Спросил меня, чем я нынче занимаюсь, и я сказала ему: «Ничем». Он говорил бы со мной и дольше, но я отошла. Не могла этого вынести. Не столько его голос — его улыбку: когда мы... встречались, мне казалось, что только я способна вызвать у него такую улыбку, широкую, во весь рот, — всякий раз, стоило ему меня увидеть, лицо у него расплывалось, все его кривые зубы были видны. Вот и теперь, когда я подошла к нему, он расплылся в такой же счастливой улыбке, как будто за все прошедшие месяцы... ничего не изменилось.

Она посмотрела на замок своей сумочки и решила, что начала неудачно. Неодобрение сидящего напротив мужчины было для нее таким же реальным фактом, как шум кондиционера. Оно наплывало на нее, обволакивало серой прохладой, и она обеспокоенно спрашивала себя, что, может быть, это неправильно — так реагировать на его восприятие, неправильно стараться заслужить его одобрение. Она подняла лицо, стараясь, чтобы оно выглядело так, будто у нее и в мыслях нет кокетничать. В любой другой комнате она была бы уверена, что ее считают красивой женщиной. Здесь красота больше не существовала, и она была обезоружена, только сейчас осознав, до какой степени она от нее зависит, как привыкла она ею прикрываться и маскироваться. Она подумала, что, наверное, стоит попробовать как-то передать эти ощущения.

— Он видит меня насквозь, — сказала она. — Вот почему он был так бесподобен тогда и почему сейчас так невыносим. Он меня знает. Я не могу спрятаться за своим лицом, когда он улыбается, и мне кажется, он словно прощает меня, прощает за то, что я не прихожу к нему, хотя я и... не могу.

Мужчина в кресле сменил позу так порывисто, что она усмотрела в этом знак нетерпения. Она лишний раз убедилась в своей способности говорить то, чего он слышать не хочет, и попыталась сказать что-нибудь такое, что своей неподдельной искренностью и сбивчивостью придется ему по душе.

— Я недоговариваю, — призналась она. — На самом деле он сказал одну вещь, которой не сказал бы, если бы раньше не был моим любовником. Он оглядел мое платье и спросил таким, знаете, робким голосом: «Ты специально надела это — хотела сделать мне больно?» Надо же придумать такое! Я даже немного разозлилась. У меня не столько платьев, чтобы взять и выбросить все, которые... я надевала, когда встречалась с ним.

— Опишите это платье.

В тех редких случаях, когда он сам вступал в разговор, степень его заинтересованности, как правило, казалась ей до обидного малой.

— Платье как платье, такое оранжевое с коричневым, в полоску, с круглым вырезом. Летнее. Он еще говорил, что я в нем как сельская простушка.

— Ясно. — Он оборвал ее небрежным жестом, словно досадливо отмахнулся. Когда он позволял себе подобную грубость, она всякий раз терялась, поскольку не могла себе представить, чтобы этому он мог научиться из своих умных книг.

С недавних пор она начала за него опасаться: он казался ей слишком наивным и негибким. Она все время боялась, что он сделает что-то не то. Когда-то у нее был учитель музыки, и однажды они, сидя бок о бок, разучивали гаммы на рояле, — и он сбился. Она так и не смогла этого забыть, так и не выучилась играть на рояле... Однако она, как всегда, принялась добросовестно анализировать его реакции, надеясь обнаружить какой-то ключ к пониманию. В их беседах она уже не раз возвращалась к этой сельской фантазии, как будто в ней, именно потому что это была фантазия в чистом виде, всенепременно крылась разгадка ее нынешней удрученности. Быть может, демонстрируя типично мужское нетерпение, он пытается подвести ее к признанию того, что она — дай ей только повод — готова погрузиться в немыслимые глубины. Его главное усилие, насколько оно просматривалось, состояло, кажется, в попытке направить ее внимание на то неочевидное, что есть в очевидном.

— Вы хоть раз надевали это платье сюда? — спросил он.

Какой он странный!

— Сюда, к вам?

Она попыталась припомнить — мысленно видя, как запарковывает машину, четверг за четвергом, запирает дверь, бросает монеты в паркомат, идет по солнечной стороне улицы — мимо булочных, швейных ателье, вывесок дантистов, — входит в сумрачный подъезд его дома, и как, скользнув по металлической обшивке стен со штампованным рисунком из геральдических лилий, тень от ее затянутой в перчатку руки ложится на кнопку звонка.

— Да нет, как будто.

— У вас есть какие-нибудь соображения почему?

— Никаких особых соображений. Это повседневное платье. Скорее молодежное. Не то, что надеваешь, когда выбираешься в город. Я ведь не ограничиваюсь визитом к вам — заодно что-то покупаю, навещаю кого-то иногда. Потом встречаюсь с Гарольдом в каком-нибудь баре, потом мы ужинаем, идем в кино. Хотите, чтобы я рассказала, как ощущаю себя в городе? — На нее внезапно нахлынули эти ощущения, вызванные образом себя самой в городе, — блаженные, пронзительные ощущения солнечного света и внутренней свободы, которые, по ее собственному убеждению, очень многое в ней объясняли.

Но он настойчиво гнул свое:

— Тем не менее, именно в этом простом повседневном платье вы в прошлый уикенд отправились на прием?

— Прием был у наших близких друзей. Сейчас за городом настоящее лето. Платье простое. Но не убогое.

— Когда вы решили надеть его на прием, где, как вам было известно, он вас увидит, вы помнили о его особом отношении к этому платью?

Она подумала, не навязывает ли он ей свой ход мыслей. Она считала, что ему этого делать не следует.

— Сейчас уже не скажу, — начала она и тут же с досадой осознала, что он раздует из этого целую теорию. — Вы, конечно, думаете, что я помнила.

Он улыбнулся своей сдержанной вежливой улыбкой и слегка пожал плечами:

— Расскажите про одежду.

— Просто что в голову придет? Вы хотите, чтобы я импровизировала по методу свободных ассоциаций про одежду вообще?

— Говорите все, что приходит в голову.

Кондиционер заполнял ее молчание своим непрерывным требовательным гудением. Время потоком проходило сквозь нее — она попусту тратила отведенные ей минуты.

— Видите ли, он... — Странно, как ее сознание, стоило дать ему волю, словно магнитом притягивалось к этому местоимению. — Он был совершенно помешан на моей одежде. Считал, что я слишком люблю наряжаться, и все время поддразнивал меня, мол, ему было бы накладно содержать такую женушку. Это, конечно, выдумки: я неплохо шью, так что в какой-то степени сама себя одеваю, тогда как Нэнси носит якобы скромные вещицы от Стернса, которые на деле стоят очень прилично. Пожалуй, не будет преувеличением сказать, что моя одежда стала для него чем-то вроде фетиша: он зарывался лицом в мои вещи, стоило мне их с себя снять, и потом, пока мы были вместе, он иногда брал их с собой в постель, и они путались между нами и превращались невесть во что. — Она смотрела на него скорее с вызовом, чем со смущением. Он был абсолютно неподвижен, чуть улыбаясь легчайшей из своих обращенных к собеседнику улыбок, призванных убедить пациента в том, что его внимательно слушают, и свет из окна серебрил его тщательно расчесанные волосы. — Помню, однажды, когда мы вместе были в городе, я повела его пройтись со мной по магазинам, думала, ему понравится, но нет — ничего подобного. Продавщицы не очень понимали, кто он мне — брат, муж или еще кто, а он вел себя просто как типичный мужчина, ну, вы понимаете, с трудом все это терпел и страшно стеснялся. В каком-то смысле мне даже нравилось, что он так реагирует, потому что среди моих опасений, связанных с ним, когда я еще думала, что он мне принадлежит, было и это — не многовато ли в нем женского. Не столько во внешнем облике, сколько в его внутренней сущности. Была в нем пассивность, что ли. Умел он заставить меня приходить к нему, даже когда сам вроде об этом и не просил. — Она почувствовала, как, пробираясь по лабиринтам сознания своего слушателя, она дошла до некоего узкого места, — и постаралась дать задний ход. С чего же она начала? С одежды. — Сам он одевался как придется. Вы хотите услышать про его одежду или только про мою? Еще немного, и я начну болтать про одежду детей. — Она позволила себе хихикнуть.

Он никак не отозвался, и ему в наказание она стала развивать тему, которая, как ей было известно, выводила его из себя.

— Он неопрятен. Даже когда он бывал при полном параде, почему-то казалось, будто воротник рубашки у него расстегнут, а вещи носил, пока они на нем не разваливались. Помню, под конец, когда мы пытались порвать и я несколько недель подряд с ним не виделась, он заглянул ко мне на минутку узнать, как я, и я сунула руку ему под рубашку и пальцами попала в прореху на майке. У меня прямо ноги подкосились — так мне его захотелось! — и мы поднялись наверх. Я не могу разложить все по полочкам, но было тут что-то такое, сама идея, что ли: мужчина, у которого денег не меньше, чем у любого из нас, — и вдруг прореха на майке... Меня это ужасно трогало. Наверно, тут что-то от материнского инстинкта, но чувство у меня возникало прямо противоположное — как будто его небрежное отношение к одежде делало его в моих глазах сильным, сильным в том смысле, в каком я сама не сильна. Во мне всегда сидит потребность придирчиво следить за своим внешним видом. Вероятно, это идет от внутренней неуверенности в себе. То же и при физической близости. Иногда я замечала — наверно, это уж слишком, может, не стоит продолжать? — я замечала, что у него грязные ногти.

— Вам это нравилось?

— Не знаю. Просто подробность, которую я отмечала.

— Вам нравилась мысль, что вас ласкают грязные руки?

— Это же были *его* руки!

Она резко выпрямилась в кресле, и его молчание, в котором ей почудилась мужская обида, задело ее за живое. Она попыталась сгладить неприятный эффект своих слов:

— Вы хотите сказать, нравилось ли мне, когда меня — как это правильно сказать? наверно, это слово ушло у меня в подсознание — принижают? Но разве это не свойственно женщине, любой, хоть в какой-то степени? Вам кажется, у меня с этим перебор?

Мужчина качнулся в кресле, и руки его изобразили в воздухе какой-то схематичный ответ; сдержанное волнение оживило его фигуру — словно нежный ветерок прошелся над серебристой гладью озера.

— С одной стороны, у вас по отношению к этому мужчине ярко выраженная агрессивность: вы сами подходите к нему в гостях, вы тащите его сопровождать вас в ваших походах по магазинам, провоцируя в нем чувство неловкости, вы ложитесь с ним в постель, причем, как можно понять из вашего признания, скорее не по его, а по вашей собственной инициативе.

Она сидела потрясенная. Все было не так. Ведь не так?

Мужчина продолжал говорить, проводя растопыренными пальцами по волосам, отчего непослушная юношеская прядь свесилась на лоб еще ниже.

— Даже сейчас, когда ваш роман, как считается, остался в прошлом, вы продолжаете заигрывать с ним — надеваете платье, которое имело для него особый смысл.

— Я же все объяснила про платье.

— Есть еще один аспект, который мы без конца затрагиваем: его кривые зубы, что-то женское в его природе, безволие, склонность к старому тряпью, и наряду с этим ваше собственное физическое и душевное здоровье и властный нрав. Посреди объятия вы натыкаетесь на прореху в его майке. Это подтверждает ваше подозрение, что он деградирует, что вы его разрушаете. И вот, желая его, так сказать, *подреставрировать*, вы тянете его в постель.

— Но в постели-то он всегда был хорош!

— В то же самое время у вас в голове сидят свои представления о том, что «свойственно» женщине. Вы испытываете чувство вины оттого, что в вашей паре вы воплощаете активное начало, — отсюда ваша довольно-таки доктринерская рабская покорность, ваша потребность подмечать, что у партнера грязные ногти. Тут и связь с землей, с вашим отношением к грязи, земле, к оппозиции деревня — город, естественное — неестественное. Город, то есть искусственное, олицетворяет для вас жизнь, земля — смерть. Подчиняя его своей воле, опутывая его своей одеждой, вы преодолеваете собственную смерть, а если точнее — вы проходите сквозь нее и становитесь сельской девчонкой, девчонкой от земли, той, кому удалось избежать смерти. Вот в общем виде мои впечатления. Думаю, по этим направлениям мы и будем работать.

Ей стало его жалко. Все как всегда: очередной четверг, очередная скромная попытка с его стороны, все очень мило и умно, и даже ниточки в большинстве своем как-то увязаны, а ей хоть бы что — опять мимо, опять ей удалось вывернуться. Несмело глянув на кондиционер, она спросила:

— Можно сделать его потише? Я почти не слышу вас.

Он, по-видимому, удивился, неловко поднялся и что-то привернул в кондиционере. Она снова хихикнула:

— Это мой властный нрав дает о себе знать.

Он вернулся к своему креслу и кинул взгляд на часы на руке. Уличный шум — автобус, в котором переключается передача, дробный перестук женских каблучков — проник внутрь сквозь установившуюся в окне тишину и почти нормализовал нереальность атмосферы в комнате.

— Разве не может земля, — спросила она, — подразумевать жизнь, почему непременно смерть?

Он пожал плечами. Он был собой недоволен.

— Это особый язык: одно и то же может выражаться через прямо противоположные понятия.

— Если я понимала его именно так, тогда как он понимал меня?

— По-моему, вы напрашиваетесь на комплимент.

— Вовсе нет, ни на что я не напрашиваюсь! Я жду не комплиментов, а правды. Я жду помощи. Я до смешного несчастлива, и мне нужно знать почему, и у меня не складывается впечатление, что вы помогаете мне найти ответ. Мне кажется, что мы с вами говорим вроде бы об одном, но друг друга не разумеем.

— Вы не могли бы развить эту мысль?

— Вы правда хотите?

Он неподвижно застыл в кресле, словно окаменел (она постаралась это впечатление игнорировать) от страха.

— Ну что ж... — Она снова перевела взгляд на защелку на своей сумочке — безмолвный фокус в поле ее зрения, который, словно домкрат, помогал ей подняться. — Когда я начала ходить к вам, я, неизвестно почему, вбила себе в голову, что приблизительно к этому времени между нами что-то произойдет, что я так или иначе, абсолютно не теряя головы и ничем не рискуя... увлекусь вами. — Она подняла глаза в надежде увидеть поддержку, но не увидела ее. Она стала говорить дальше голосом, который, хоть кондиционер и стих, ей самой казался каким-то резким и грубым. — К сожалению, ничего подобного не произошло. Даже хуже — скажу как есть, ведь Гарольд просто выбрасывает деньги на ветер, если я не могу быть с вами до конца откровенной, — я чувствую, что случилось прямо противоположное. Меня не оставляет ощущение, что вы сами влюбились в меня! — Теперь она говорила, словно боялась не успеть. — И оттого я испытываю к вам нежность, и хочу вас защитить, и делаю вид, что я вас не отвергаю, — из-за этого все идет не так, как должно. Вы ставите меня в положение, при котором женщина не может быть ни откровенной, ни слабой, ни вообще самой собой. Вы заставляете меня искать обходные пути, стыдиться того, что я чувствую к Полу, просто потому, что вам это неприятно. Ну вот... Сегодня ни вы, ни я еще ни разу не назвали его по имени. Вы ревнуете. Мне вас жаль. Ведь я, как бы то ни было, через минуту-другую — я заметила, как вы посмотрели на часы, — могу выйти на улицу, побаловать себя, скажем, кусочком творожного торта в кондитерской, потом сесть в машину, влиться в общий поток, выехать на мост... как бы то ни было, я любила и была любима, и не важно, что причины, которые вызвали к жизни эту любовь, по вашей версии, смешны и нелепы. Но вот вы... не могу представить, что вы бываете где-то, кроме вот этой комнаты, что вы можете напиться, лечь с кем-нибудь в постель, что у вас возникает потребность принять ванну, — не могу, и все тут! Простите. — Она ожидала, что после такого взрыва уж точно расплачется, но нет: она просто во все глаза смотрела на мужчину напротив, зато его глаза — виной, наверное, был водянистый свет от окна — казались страдальчески напряженными.

Он лениво шевельнулся в кресле и положил обе ладони плашмя на стекло письменного стола.

— Одна из ваших поразительных особенностей — настоятельная потребность оберегать мужчин.

— Но с *ним* все было *не так*! То есть, я знала, что даю ему что-то, в чем он нуждается, но я сама чувствовала, что у меня есть защита. С ним у меня было ощущение, будто я в центре круга.

— Да. — Он взглянул на часы, и ноздри его расширились — он приготовился глубоко вздохнуть. — Что ж.

Он встал и озабоченно сдвинул брови. Несколько растерявшись, она на долю секунды замешкалась.

— До следующего четверга? — спросил он.

— Вы совершенно правы, — сказала она, обернувшись в дверях, чтобы улыбнуться ему на прощание — по-сельски открытой улыбкой с чуть печальным оттенком. Белизна улыбки, отметил он взглядом художника-оформителя, прекрасно сочеталась с ее волосами, костюмом и белым цветом ее сумочки и туфель. — Я и точно неврастеничка.

Она закрыла за собой дверь. Вздох, который просился наружу, пока она была еще в комнате, словно был отложен до момента, когда она ее покинет. Он был на пути к победе, дело сдвинулось, но как же он устал! Наконец один, он бесшумным, каким-то бесплотным движением, словно сплюснутый до полушария пузырь, стремящийся вернуться в привычную форму, погрузился в невозмутимо спокойную поверхность своего кресла.